

Я умел по-узбекски.
Я купался в украинской мове.
И на идиш куплетик застрял,
как осколок, во мне.
Пантюркизмы, и панславянизмы,
и все горлопанства, панове,
Не для нас, затвердевших до срока
на дворе, на великой войне...

Первое, что помню — снопы солнечного света в виноградных листьях. Синее небо, солнечный свет, виноградная беседка во дворе бабушкиного дома недалеко от Алайского рынка.

Я в этом выросла, и ослепительность солнечного дня была для меня столь же естественна и привычна, как для жителя Чукотки снежный настил на земле. Но много раз я слышала от приезжих друзей о том потрясении, которое вызывала эта лавина света, солнечные блики на керамическом блюде, тепло. Причем, тепло не только климатического свойства.

Мой отец, демобилизовавшийся после войны, приехал в Ташкент к своим эвакуированным из Харькова престарелым родителям. Вышел из поезда на перрон, миновал вокзальную

площадь и пошел по тихой улице в поисках нужного адреса. Заблудился, растерялся и постучал в калитку какой-то глинобитной кибитки — спросить дорогу в Соцгородок. Вышел пожилой узбек, увидел фронтовика и... сразу вынес в пиале чаю. Сказал: «Сначала попей, сынок. А после расскажу».

— Так меня встретил Ташкент, — говорит сейчас мой восьмидесятисемилетний отец. — И вот уже столько десятков лет я об этом помню.

Я выросла среди людей, многие из которых после войны остались в Ташкенте — хотя могли бы вернуться туда, откуда были эвакуированы. Но видимо, они *хотели* остаться в Узбекистане — и не только потому, что *Ташкент — город хлебный*. Не такой уж он был и хлебный во время войны: точно так же, как вся страна, голодал, стоял в очередях за военной «затирухой» — жидким мучным варевом, получал хлеб по карточкам.

Моя мама, закончившая во время войны САГУ — Среднеазиатский университет — и работавшая на авиационном заводе, рассказывала, как однажды они, вечно голодные конкурсицы, решили устроить в общежитие «картофельный бал» (в то время картошка была почти недостижимым лакомством). Девушки скинулись со стипендии и купили картошки, чтобы наесться до отвала. И наелись так, что всю ночь маялись животами: организм не принимал такой калорийной пищи.

Так вот, дело не в «хлебности» Ташкента и его жителей, а в том душевном тепле, искренности и терпимости к ордам голодных и не всегда симпатичных «квартирантов», что обрушились на город. В том, что сейчас называется безликим словом «толерантность».

Чтобы расшифровать это слово, достаточно вспомнить личность уже легендарную: узбекского кузнеца Шомахмудова, семья которого усыновила больше десятка сирот. В центре Ташкента ему установлен памятник. Эта история была для нас, выросших уже после войны, такой привычной, почти официозной (помню, на эту тему был и фильм снят «Ты не сирота»). А вот сейчас я задумалась: как же он их кормил,

этот человек, у которого наверняка и своих голодных ртов было достаточно? Как он *смог* их прокормить — не месяц, не два, а годы?..

И какая же это толерантность? Это особый вид мужества, уверенность в своей правоте и подлинная природная доброта.

А детский дом Антонины Ивановны Хлебушкиной? Мне кажется, такой мог возникнуть и существовать годами только в Ташкенте. Ведь эта женщина, которую ее подопечные называли мамой, давала свою фамилию всем малолетним сиротам. Сейчас по всему миру живут в разных странах множество Хлебушкиных. С одним таким, в Израиле, я знакома.

И опять-таки именно сейчас, уже будучи немолодым человеком, думаю: сколько добра должна была излучать эта женщина, сколько энергии и тепла, чтобы согреть множество детских сердец. Да ведь это настоящая электростанция любви!

Вообще, с годами начинаешь перебирать воспоминания, которые когда-то казались незначительными, осознать детали, такие привычные, но такие *говорящие* именно теперь. И многое высвечивается иначе, многое иначе понимается.

Я опознаю ташкентцев, где бы их ни встретила, буквально в первые минуты знакомства. Они дружелюбны, естественны, интеллигентны и очень гостеприимны. Это в нас вьелось узбекское гостеприимство — важнейший закон жизни этого народа. Природное, исконное, ненатужное гостеприимство.

Когда к нам в гости приезжали москвичи или ленинградцы, первым делом их, как водится, оглушали изобилием, разноцветием и разноголосицей узбекского базара. Алайский базар — вот истинное место паломничества гостей и командировочных. Вот где бедный северный человек ошалевал, и, бывало, столбом застревал посреди фруктовых рядов, вдыхая пряный запах синеватого дыма от шашлыков и плова, что готовились тут же, неподалеку...

Двухмиллионный *мой* Ташкент был городом индустриальным, со многими предприятиями и с изрядным количеством вузов. В ирригационном институте, например, учились ребята из стран Африки, из Индии, из Пакистана.

То есть, свою компоненту, свой цвет, свой гортанный выговор в облик города добавляли еще и иностранные студенты. Поэтому, когда впервые попав в Израиль, я увидела разноплеменную пестроту лиц, то почувствовала себя совершенно в своей тарелке: это был все тот же Ташкент, и все так же с разными акцентами говорили на иврите люди из самых разных пределов земли.

Я не была в Ташкенте очень много лет. В 2002 году залетела туда по делу, дня на два, и ничего не могла узнать. Смутно вспоминала какие-то перекрестки, какие-то общие направления улиц. Ташкент грандиозно перестроили. Там и тут возвышались великолепные, облицованные мрамором здания. Но это был уже не мой город. Мой Ташкент, как затонувшая Атлантида, ушел на дно моей памяти, и там пребывает, в лучах ослепительного солнца.

Ваша Дина Рубина

На солнечной
стороне улицы

Часть первая

...для любого сколько-нибудь тревожного человека родной город... — нечто очень неродное, место воспоминаний, печали, мелочности, стыда, соблазна, напрасной растраты сил.

Франц Кафка.

Письма к фройляйн Минце Э.

Я позабыла тот город, он заштрихован моей угрюмой памятью, как пейзаж — дождевыми каплями на стекле.

Не помню названия улиц. Впрочем, их все равно переименовали. И не люблю, никогда не любила глинобитных этих заборов, саманных переулков Старого города, ханского великоления новых мраморных дворцов, имперского размаха проспектов. Моя юность проплутала этими переулками, просвистела этими проспектами и — сгинула.

Иногда во сне, оказавшись на смутно знакомом перекрестке и тоскливо догадываясь о местонахождении, я тщетно пытаюсь припомнить дорогу к рынку, где ждет меня спасение от позора.

Я не помню лиц соучеников, и когда на моем выступлении в Сан-Франциско или Ганновере ко мне подходит некто незнакомый и, улыбаясь слишком ровной, слишком белозубой улыбкой, говорит: «Вспомни-ка школу Успенского», — я не помню, не помню, не помню!

...Тогда почему все чаще, возвращаясь из Хайфы или Ашкелона домой, поднимаясь в свой иеру-

*салимский автобус и рассеянно вручая водителю
мятую двадцатку, я глухо говорю:*

— ...В Ташкент?..

1

Из долгой, с ветерком, гастрولي мать нагрянула неожиданно и, вызнав у соседей про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом. Нанесла три глубокие раны — убивать так убивать! — и села в тюрьму на пять лет...

Вера в тот день как раз читала «Царя Эдипа». Распластанная книжка так и осталась валяться на кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, словно силясь подняться с карачек... Так что все оказалось по теме. Хотя убийства настоящего и не вышло. Дядя Миша, отчим, долго валялся по больницам, но окончательно не выправился, — подволакивал ногу, клонился влево, подпирая себя палкой. Кашлял в кулак...

«Догнива-а-ает», — говорила мать, убийца ока-
янная.

Сама же отсчитала весь срок до копейки, и когда вернулась, Вере уже исполнилось двадцать.

Вот вам конспект событий...

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям — чем повернута? Конспектом.

Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной жизни?

* * *

Вернулась она тихо: позвонила в дверь двумя неуверенными звонками и, когда Вера открыла, прослезилась и обмахнула щеки дочери такими же неуверенными поцелуями. И то и другое было ей несвойственно.

«Присмирела, что ли, на казенной баланде?» — подумала Вера.

Мать прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус — холеный барин, эстет, платиновые бакенбарды — следовал за ней тревожной трусцой, морщась от ужасного запаха тюремной юдоли.

Мать опустила на табурет, медленно стянула с головы косынку (поседела, фурия, — отметила Вера) и мягко, со слезою в голосе, вздохнула:

— Ну вот, вернулась к тебе твоя мамочка...

Привалившись острым плечом к дверному косяку, Вера молча наблюдала за нею. Только после ее слов, вернее после этого красивого обнажения поседевшей головы, она поняла, что играется сцена «Возвращение мамочки», и мысленно усмехнулась. Мать, между тем, оглядела кухню уже другим, своим прихватывающим взглядом, поддала носком стоптанной босоножки обломок угольного карандаша на полу:

— Все малюешь... Я в твои годы горбила вовсю.

— А, здравствуй, мама! — словно узнав ее наконец, воскликнула дочь. И согнала с губ улыбку. — В мои годы ты вовсю спекулировала.

Та подняла на нее светлые рысьи глаза: видали верзилу? — стоит, жердь тощая, старая майка краской заляпана, взгляд угрюмый, насмешливый... Выросла. Самостоятельная!

Они глядели друг на друга и понимали, что жить им теперь, обоим, бешеным, в этой вот квартире. Нос к носу...

* * *

Я, пожалуй, встряну здесь ненадолго. Собою их не заслону, хотя я и автор, вернее — одно из второстепенных лиц на задах массовки. Я и в хоре пела всегда в альтах, во втором ряду. Вы помните, конечно, эти немолчные хоры на районных конкурсах школьных коллективов? Если нет, я напому:

Выстроились на сцене двумя длинными рядами. Одежда парадная: белый верх — черный низ, зажеванные уголки красных галстуков с утра тщательно отпарены плюющим утюгом...

Второй ряд стоит на длинных скамьях из спортзала, не шевелясь и не дыша, потому что однажды, из-за подломившейся ножки скамьи, все дружно и косо, как домино из коробки, повалились на деревянный пол сцены.

Подравняться!!! Носки туфель чуть расставлены... Смотреть на палочку!!! Набрали в грудь побольше потной духоты зала, и!..

Вот хоровичка поднимает руки, словно готовясь долбануть локтями кого-то невидимого по обоим сторонам. Дирижерская палочка подрагивает и ждет. За роялем Клара Нухимовна: белое жабо крахмальной блузки, слезящийся нос, жировой горбик на шее... В

черном зеркале поднятой крышки рояля подбитой голубкой трепещет отражение ее комканного кружевного платка.

И вот — бурный апрельский разлив вступления!

Взмах из затакта: повели медленно и раздумчиво...

Ветви оделись листвою весенней...

И птицы запели и травы взошли,

Весною весь мир отмечает рождение...

звук нарастает, жилы на шее хоровички натягиваются...

Великого сы-ы-на... Вели-кой земли-и-и-и...

И поехали с орехами:

Лееееееенин...

Это мы, альты и вторые сопрано, еще затаенно; и вдруг — восторженный вскрик первых сопрано:

— Ленин!!!

Это весны...

Первые сопрано, заполошно перебивая:

— Это весны цветенье!!!

Ле-ееееенин...

Ленин!!!

Дружное ликование в терцию:

— Это побеееды клиииич!

— Славь-ся в века-а-ах...

Совместное бурлацкое вытягивание баржи:

— Лееееееенин!

Наш...

Вторые сопрано и альты, борясь за подлинную истовость:

— Наш дорогой Ильич!!!

И пошел, пошел, ребята, финал — наш великий исход, исступление, искупление, камлание, сладострастие тотального мажора безумных весталок:

— Ле-ни-ну — слааааааааааааа-ва!!!

Пар-ти-и слааааааааааааа-ва!!!

Сла-ва в векаааааааааааааааа-ах!!!

...и вот теперь... подкрадываясь с пианиссимо, раскручивая птицу-тройку до самозабвенного восторга, по пути прихватив мощное сопрано нашей хоровички, налившейся свекольным соком, стремительно хлынувшим на лоб ее, щеки и монументальную грудь!!!

Слааааааааааааааааа-а-ва!!!

Обвал дыхания в беспамятство тишины.

Яростный гром аплодисментов под управлением жюри.

* * *

С неделю было тихо. Мать не трогала Веру, приглядываясь. Правда, в первый же вечер в отсутствие дочери сгребла все холсты, подрамники, кисти и коробки с сангиной и мелом и свалила на пол в маленькой восьмиметровой комнате, где Вера обычно спала.

Большую же, пропахшую скипидаром, лаком и краской, — дочь считала ее мастерской и на этом ос-

новании превратила в свинарник, даже доски для подрамников в ней строгала, — мать отмыла, проветрила, постирала и повесила на окна старые занавески, пять лет валявшиеся в углу на стуле (света ей, дылде, видите ли, не хватало!), и для порядку прибила на дверь небольшую такую задвижечку, не засов какой-нибудь амбарный, — все-таки с дочерью жить, не с чужим человеком.

Вера, увидев это, ничего не сказала: в самом деле, нужно же и матери где-то жить. Жаль было только постановку для натюрморта, мать разобрала ее. Окаменелые от давности гранаты выбросила, а медный, благородно темный кумган обтерла от пыли тряпкой, служившей в постановке вишневым фоном, и переставила на подоконник.

«Ах ты, корова старая, — подумала дочь беззлобно, — я неделю ждала, пока он пылью покроется, чтоб не слишком блестел...»

Вообще Вера была настроена миролюбиво, мрачно-миролюбиво. Вечерами сидела в своей комнате и часами рисовала автопортреты, поминутно вскидывая глаза на свое отражение в остром осколке когда-то большого и прекрасного зеркала. Иногда раздевалась до пояса (натурщицы были не по ее студенческому карману) и таким же сосредоточенно-цепким взглядом, словно чужую, вымеряла себя в зеркале: прямые плечи, робкую, как у подростка, грудь, втянутый живот...

В первые дни мать, все еще играя роль «вернувшейся мамочки», пробовала беседовать по душам, то есть совала нос не в свои дела, давала идиотские советы или принималась вдруг рассказывать душещипательные тюремные истории. Но нарвалась несколько раз на едкие замечания дочери и отступилась.

Дочь не пускала в свою странную, но, видимо, устоявшуюся жизнь. Ну, и маячил между ними еще живым укором этот недобиток, который и получил свое, на что напрашивался...

У Веры как раз тогда заканчивался период длительного увлечения хатха-йогой; по утрам она уже не стояла на голове и не тратила полтора часа на позы с тех пор, как умножила эти полтора часа на семь (неделя), а потом на тридцать (месяц), и прикинула — сколько времени поглотило у нее бессмертное учение. Рассудив, что полтора месяца — довольно жирный кусок от ее, безусловно, смертной жизни, утренние занятия самосовершенствованием она прекратила, но все еще была убеждена, что, закрыв глаза и вызвав в воображении круг зеленого цвета, можно сосредоточиться и усилием воли погасить любые нежелательные эмоции — например, ярость при виде задвижки на двери, которую приколотила эта старая тюремная комедиантка.

С тех пор, как мать вернулась, зеленый круг приходилось вызывать в воображении довольно часто, и у Веры появилось опасение, что вся ее жизнь теперь может пойти сплошными зелеными кругами: мать устроилась уборщицей в очередной стройтрест и понемногу набирала обороты: купила себе венгерские кроссовки, завилась и стала красить губы.

Вера насторожилась, как насторожился бы житель горной деревушки, заметив, что над давно погасшим вулканом вновь курится дымок.

И вправду, дней через пять, вечером мать ввалилась разгоряченная, деятельная. Распахнула пошире

входную дверь: за нею, тяжело топая, поднимались по лестнице двое мужчин с ящиками на плечах.

— Рахимчик, сюда... Рахимчик, легче давай... — командовала мать. — Колюнъ, ложь эту хреновину вот здесь... Осторожней, не побей!.. Та-а-ак...

Вера вышла из своей комнаты и молча смотрела на озабоченную беготню. Колюня и Рахимчик сбегали еще по два раза вниз, внесли шесть банок импортной краски...

— Рахимчик, ну что, — все там? Дай вам бог здоровья, ребятки, подмогли. Получайть! — мать, как разгулявшийся купец в кабаке, с размаху вмяла в Колину ладонь трешку.

— Ка-ать... — с жалостливым укором протянул Коля, — натаскались же...

— Ка-а-люня! — мать изумленно-ласково подняла брови. — А бог где? — и похлопала ладонью по молодой его, напористой груди. — Вот где бог-то! В нас-то он и есть...

Вера хмыкнула и даже вперед подалась, чтобы не прозевать Колюнину реакцию на божественный довод. С богом — это новенькая была хохма, может, в тюрьге у кого переняла. Но Коля, несмотря на молодой возраст и, вероятно, вполне атеистический взгляд на мир, смутился и как-то потускнел. Бедняга просто не знал, что из матери невозможно вышибить лишней копейки, а то бы и вопроса такого нелепого не стал поднимать.

Когда парни ушли, Вера осмотрела ящики. В них была чешская кафельная плитка. Предположить, что мать решила ремонтировать квартиру, Вера никак не могла. Выходит, взялась за старое, коммерсантка чертова.

— По нарам соскучилась? — спросила ее Вера.